



## бредисловие второе

Открыл я книгу и — закрыл.  
Открыл ещё раз — и захлопнул.

**Н**иколай Пальч, поглядите скорее сюда: что это? Ах, какая прелесть!.. Кажется, это «Полная история одного города»? Неужели! Нет, не может быть! — Беру в руки. Щупаю. Снова беру. Смотрю — и глазам своим не верю. Затем смотрю снова — и опять не верю. И чего только не бывает в жизни... Страшно вспомнить, после всего.

Раз десять повторял эту процедуру, брал, щупал, снова клал на место, да так и не поверил. И впредь не поверю. Наверняка. Сколько ни бери, сколько ни щупай, как ни крути. Вещь! Игрушка! Поразительная штуковина. И не просто поразительная, — бери выше, нереальная! Чистейший сюр'реализм («сюр», как у вас сейчас говорят). Или даже пуще того — настоящий *фумизм*: словно бы с того света упавший, или из какого-то другого мира. Как дым из ушей. Или «сон в руку». — Вот, значит, моя рука, а вот и сон (в ней). Кажется, опять всё совпало. Несмотря ни на что. Никогда не посмел бы даже подумать, что такое бывает: а теперь, пожалуйста — *вот она* лежит здесь, передо мной. Невыдуманная. Совсем как настоящая. Будто бы на самом деле такое может существовать.

— Не верю, Станиславский! Не могу поверить! Да так и не поверю, вероятно. По стопам известного апостола Фомы. И приятеля его — Ерёмы. Дыша им в затылок...

«История одного города (полная)». Та книга, о которой я мечтал более полувека, считай, всю жизнь так и про'мечтал, — но даже не смел мечтать подержать в руках, хоть прикоснуться разок. И что? Неужели она теперь есть? На самом деле? Да, кажется, она есть: здесь и сейчас. — Только мы с ней немного разошлись, снова. Всего-то на девяносто лет. И место, вроде, *то же* самое, да только время уже другое. Подумаешь, мелочь какая. Теперь она здесь, она есть, — да только меня, меня-то уже нету. Здесь и сейчас.

Ну, значит, нам туда дорóга: стану теперь загигать пальцы.

Как будто бы я пришёл и вижу... Игра такая. Очень старая.

*Veni, vidi, vici*, — как говорил один излюбленный живоде́р.

Тоже кстати, градоначальник, вроде Василиска Бородавкина.

Ох, и давно же это было! 150 лет прошло. Как один день.

И не хотелось бы вспоминать, да уж теперь придётся, наверное.

— Когда дядя-Миша Салтыков издал свою «историю одного города», меня ещё на свете не было. К сожалению, не было. И мать моя ж'Анна, принцесса савойская, тогда ещё в девках ходила, и не наделаала ни одной из тех милых глупостей (с дворянским сыном Николаем Соловьёвым), из-за которых мне потом ещё и отдуваться пришлось, чёрт знает сколько. Странно сказать: ведь ещё цельных пять-шесть лет прошло, прежде чем я на

свет появился, а «история одного города» — уже была. И не просто была, но отдельной книжкой. Страшно сказать, *какая*, но была. Словно от мясников вырвалась, чудом живая. Вся порезанная (цензорами). Покромсанная. Выскобленная. Не понятая. Обруганная. Всякая..., но была. — Так я сам себе и сказал спустя годы: ты опоздал малость (родиться), Мишка Савояров, слишком молодой получился. Ну и *чёрт бы с ним*, что опоздал. Потому что пятью годами позже опубликовать эту «историю» уже наверняка не удалось бы. Совсем не удалось. Ни покромсанную, ни выскобленную, ни порезанную, короче говоря, никакую. В те времена главным цензором у нас принялся лютовать уже совсем другой дядя-Миша, полный тёзка мой, вспоминать фамилию и лицо которого до сих пор не хочется. Сволочь. Труха человеческая. Можно подумать, я таких цензоров не видал.

— Когда я впервые открыл «историю одного города», мне было чуть больше десяти. Открыл — очень точное слово. Как Америку открыл, буквально. Ошеломлённо. Подорванно. Будто на мину наступил, противопехотную. Да ведь это и было настоящее «открытие», — нового материка глуповского. Как сейчас помню: читая про майора с фаршированной головой, я всё за *свою* голову хватался, потому что это всё мои слова были, мои строчки, настолько всё близко и знакомо. Паштет вместо мозгов, студень вместо задницы. Неужели не я всё это придумал? Только у Салтыкова-Щедрина его фамилия была Прыщ, а у меня — Фрыщ. И звали его не Иван Пантелееч, а Кузьма Кузьмич. Вот и вся разница. И полюбил я тогда дядю-Мишу как самого себя. До конца жизни моей, сколько дыхания хватит, родной он стал для меня, и города его родной в доску, только у него был — Глупов, а у меня стал — Дуров. Вот и вся разница. Потому что не только один Салтыков-Щедрин, земляк мой возлюбленный, там провёл едва не половину жизни. Ведь и я *тоже* там родился и вырос, — и меня там едва насмерть не забили, — и там же я стал знаменитым, а потом забытым, — и там же я чуть не помер от голода и тифа, — и там, наконец, я погиб в понедельник, день шестой. Вышел из дому и не вернулся, 64 года мне было. Упал и сдох как собака. В насквозь заспаной дуровской подворотне. Ну, значит, там мне теперь и место. Как дух святой.

— Когда я впервые приоткрыл «историю одного города», её прекрасный автор, дядя-Миша Салтыков был ещё здесь. Точнее говоря, жив он ещё был, хотя и болел уже сильно. Когда думаю об этом, слёзы наворачиваются на глаза. Слёзы, что не застал его. Не успел поклониться в ножки, на колени встать перед ним, ручку облобызать, орден на шею повесить (Святой Анны, наверное). Заранее облизываюсь, как бы он мне шикарно наkostenял за это, прекрасный желчный старик. И был бы совершенно прав, конечно... Всего-то 63 года ему стукнуло, когда помер. Так и не дождавшись моего прихода. В мае месяце (помер), тогда мне ещё тринадцать лет не исполнилось, мальчишка. В общем, так мы с ним и не встретились. Ни разу. И тогда же, в том же мае я с Петром Шумахером, дедом своим любимым в кусковском парке столкнулся, тоже ведь старик, но ему в отличие от дяди-Миши ещё пара лет жизни оставалась. За эти остатние два года я ему по гроб благодарен, никто для меня больше не сделал. С тех пор я и стал учеником сапожника, на всю жизнь. Да ещё и учеником вице-губернатора, сверх того. Пускай и заочным. Всего два у меня в жизни учителя были. Шумахер да Салтыков. Сапожник да вице-губернатор тверской-дуровской. Они, кстати вспомнить, немного знали друг друга, сталкивались несколько раз — ещё в шестидесятые. И дедуля Шумахер мне кое-что про дядю-Мишу

рассказывал, как он шикарно залился на всех и ругался. Всегда со смехом рассказывал. И с болью. Сам-то Шумахер так злиться не умел, никогда не умел, даже когда инспектором по сибирской каторге служил. Потому, наверное, и прожил на десять лет больше.

*На горé растёт шиповник,  
У горы растёт терновник,  
Под горой растёт крестовник,  
На кресте распят чиновник...*

— Теперь и перечесть нельзя, сколько раз я читал и перечитывал эту «Историю одного города». Наверное, с десяток книжек до дыр зачитал. Возил с собой повсюду, возился с нею, открывал с любого места — и тут же *отъезжал*. В поезде, на гастролях, в деревне, на чердаке, в подвале. И стишки, и куплеты свои обожал писать после инъекции салтыковской. Бывало, почитаю немножко, и как будто камертон послушал на ноту «до». И всё мило, и всё мало мне было этой истории. И всё жалею невероятно: ну почему такая *маленькая* книжечка! Неужто пожалел дядя-Миша Салтыков бумаги с буквами своими, не доделал, не дописал этой *истории* до конца. И ещё мечтал: вот бы точно такую же иметь, но только — громадную, толстенную, чтобы неделю читать, месяц читать, умом тронуться, да всё никак до конца не прочитать. Вон ведь, поди сравни: как многословный граф Толстой будто лев свою жеванину тысячестраничную перемальбывает, или ещё паче того, говорливый бред-мейстер Достоевский, *чёрт его* за ляжку. Зануды и пустословы. Вдобавок, и писатели совсем дряблые, почти совсем глуповские, — Толстой, правда, в последние свои годы поумнел малость, да перестал ерунду много-томную строчить. А здесь-то, у Салтыкова, каков пир духа, бисер свинский, да и только! На иной странице каждое словечко — как дробина в задницу. Или пуще того, заряд соли с перцем. Счастье, а не литература. Только мало, слишком мало. Как будто хорошего много не бывает...

Ещё подростком, помнится, спокойно усидеть не мог над этой книжечкой. Едва приоткрыв её, тут же подсказывал и улетал куда-то между страниц, между строчек, поминутно пожимал плечами, размахивал руками, иногда хохотал как ненормальный, хоть всё уже наизусть знал, и был совершенно счастлив, что тогдашняя наша цензура зевнула у себя под носом такую по-трясающую штуковину, да с поворотом. В голове не укладывалось: каким боком история глуповская всё-таки сумела пролезть сквозь узкую щель в заднице верноподанных и одуловатых. Тем более, что предыдущие работы так неопубликованными и остались лежать мёртвым грузом: как теперь пишут, «Глупов и глуповцы» запретили дважды, «Глуповское распутство» с «Каплунами глуповскими» тоже в цензуре застряло, а сама «история города Глупова» как-то сумела перепрыгнуть все рогатки и всё-таки — выстрелила. Вопреки всему и всем. Хвала Похвисневу, слава Шидловскому, что за уродские фамилии, словно из Дурова понаехали (а ведь это наши главные цензоры, если кто уже не помнит), не уставал удивиться такой удаче и усматривал для себя некий тайный знак, что *все они*, как на подбор, *тоже* были Михаилами, сплошные Михаилы, включая даже отборного подлеца-Лонгинова, до воцарения которого, слава Всевышнему, она успела проскочить. Чудом, не иначе. Эх, побольше бы таких чудес... При жизни, — особенно.

Постоянно осязая где-то под кожей нашу тайную «общность Михаилов» (едва не масонскую какую-то), сто раз я выдумывал себя тайным заговорщиком вместе с автором

книги. И я был Михаил, и Салтыков-Щедрин для меня всегда был только дядя-Миша, но никогда не Михаил Евграфович. Вот о чём я говорю! — невероятное, изуверское везение и почти счастье последовало этой книге. А потом ещё и мне, следом за ней, потому что я мог сколько угодно открывать её, держать её в руках и тысячу раз перечитывать. Словно в драгоценных кривых зеркалах из Петергофа, все императоры российские под видом глуповских городничих чередой прошли передо мной, напомаженные и разукрашенные дядей-Мишей до полной узнаваемости. А каковы были шикарные самозванки! Все, одна за другой, начиная от мужеподобной дуры Анны Иоанновны Палеологовой под ручку с безобразной полногрудой красавицей Елизаветой и кончая великой толстомясой немкой Амалией Второй, пару месяцев пролежавшей в одной кровати с неким недоделанным голштинцем. Всё это с первой страницы захватывало дух и вызывало восторг неожиданной свободы, как из ведра окатили. Да, и ещё одно было счастье неожиданной свободы, когда спустя девять лет после октября 1917 «История одного города», наконец, опубликовали по рукописи салтыковской, без цензурных оскорблений и дырок. Ну, хоть за это спасибо, родимые. Земной поклон, напоследок. — Уже пятьдесят мне тогда стукнуло. И снова вернулся к этой книге. И снова открыл. И снова до дыр читал, как в детстве...

Было у меня в этой книжке и *самое любимое* место, между прочим. Маленькое да колючее, вроде ерша салтыковского: это краткая опись градоначальникам, конечно. Все подряд, двадцать один номер как на духу, вынь да положь. Всего несколько кратких фраз про каждого, как в личном деле из Третьего отделения. И каждый из них — как червь на видном месте. И все вместе — деликатесное блюдо невиданной остроты. Солянка из красного перца с хреном: только попробуй, возьми в рот, язык проглотишь. — Кажется, ничто более не щекотало воображения, как представлять себе *полную картину*, скрытую за кажым небрежным наброском. А потом залезать в следующую главу — и сравнивать. И смаковать, обсаывая каждую косточку этого городничего. Или следующего...

Пожалуй, ещё кое-что скажу. Одно только было дурно..., во всей этой невероятной истории с одним городом. И только-то: две словно малозначительные фразы от автора, не слишком короткие, не слишком длинные, но слишком уж нехорошие... на мой вкус. В самом начале главы «Органчик» про *первого* же глуповского губернатора, хоть и был он совсем не первым. И вот что там было сказано, прямым словом, можете проверить:

Издатель нашёл возможным не придерживаться строго хронологического порядка при ознакомлении публики с содержанием «Летописца». Сверх того, он счёл за лучшее представить здесь биографии только замечательнейших градоначальников, так как правители не столь замечательные достаточно характеризуются предшествующею настоящему очерку «Краткою описью». — Пять строчек. И всё...

Ещё в детстве, уткнувшись глазами в такие нехорошие слова, заранее ощутил от них досаду. А прочитав книжку, и вовсе почти обиделся на дядю-Мишу. Как, почему, за какие-такие проступки он лишил меня возможности узнать лихие подробности про Ивана Баклана, переломленного пополам во время бури? Или про волшебные макароны известного дуровского композитора Клементи, оставшегося без ноздрей за грехи свои *невесть какие*. А прекрасный грек-Ламворокакис — тот и вовсе мне по ночам снился, намыленный своими чудодейственными губками, каков он был: без имени, без отчества и даже без чина. Всех и не перечислишь. И никого-то из них в книжке не было...